

Саша Чёрный

Армейский спотыкач



*Часть сборника
Избранная проза*



Саша Чёрный
Армейский спотыкач
Серия «Солдатские сказки»

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=156828
Избранная проза: Эксмо; Москва; 2005
ISBN 5-699-14284-3

Аннотация

«Обсмотрели солдатика одного в комиссии, дали ему два месяца для легкой поправки: лети, сокол, в свое село... Бедро ему после ранения как следует залатали, – однако ж настоящего ходу он не достиг, все на правую ногу припадал. Авось деревенский ветер окончательную разминку крови даст...»

Саша Чёрный

Армейский спотыкач

Обсмотрели солдатика одного в комиссии, дали ему два месяца для легкой поправки: лети, сокол, в свое село... Бедро ему после ранения как следует залатали, – однако ж настоящего ходу он не достиг, все на правую ногу припадал. Авось деревенский ветер окончательную разминку крови даст.

Попал он с лазаретной койки, можно сказать, как к куме за пазуху. На палочке ясеневой винтом кору снял, – ходи себе барином да постукивай. Хочешь, на завалинке сиди, табачок покуривай, – полковница вдовая на распределительном пункте два картуза махорки ему пожертвовала. Хочешь, в коноплянике на рогоже валяйся, легкие тучки считай да слушай, как кудрявый лист шипит... Окопы словно в темном сне снились, – русский воздух, бадья у колодца звенит. Ручей за плетнем воркочет, петух домашний штаны клювом долбит, – тоже, дурак, нашел себе власть.

Семейство у солдата было ничего – зажиточное. Картофельными лепешками его ублажали, молоко свое, немерное, в праздник – убоина, каждый день чаек. Известно – воин. Он там за них, вахлаков, в глине сидючи, что ни день – со смертью в дурачки играл, как такого не ублажить. Работы, почитай, никакой, нога ему не позволяла за настоящее приниматься. То ребятам на забаву сестру милосердную из

редьки выкроит, то Георгиевский крест на табакерке вырежет – одно удовольствие.

А вокруг села, братцы мои, леса стеной стояли. Дубы кражистые, – лапа во все концы, глазом не окинешь. Понизу гущина: бересклет, да осинник, да лесная малина, – медведь заблудится. На селе светлый день, а в чащу нырнешь, солнце кой-где золотым жуком на прелый лист прыснет, да и сгинет, будто зеленым пологом его затянуло... Одним словом – дубрава.

Сидит как-то солдат под вечер на завалинке. Овцы с лужка через выгон серой волной к своим дворам катятся, – которая овца на солдатское голенище ухватится, которая ясеневую палочку понюхает. Забава...

Подсела тут старушка одна знакомая, – черный шлык, глазки шильцем, язык мыльцем, голова толкачиком.

– Что ж, бабушка, – говорит солдат, – внучки твои малинки лесной хучь бы кузовок принесли... С молоком – важная вещь. Уж я бы им пятак на косоплетки выложил. Да и грибов бы собрали. У вас тут этого земляного добра лопатой не оберешь. А я бы насушил, да фельдфебелю нашему, с дачи на фронт вернувшись, в презент бы и поднес. Гриб очень солдатским сметкам соответствует.

Пожевала старушка конец платка, головой покачала.

– Эх, сынок, ясная кокарда! Стало быть, ты про беду нашу и не слыхал? Какие тут грибы да малина, ежели в лес не то что дите – и сам кузнец шагу теперь не ступит...

– Вот так клюква! Медведи к вам, что ли, с западного фронта по случаю отступления на постой перешли?

– Эх сказал. На медведей бы мы всем селом облавой пошли, нам же прибыль была б. В аптеке, сказывают, нынче за медвежье сало по полтиннику за фунт дают. Каки там медведи... И свои лохматые, какие были, из лесу невесть куда ушли. Не то что человек, зверь лесной и тот не выдержал.

– Что ж, бабушка, за вещь такая? Лешие у вас тут, что ли, расплодились? Да они ж, милая, бессемежные, – сам от себя не расплодишься...

– А ты говори, да оглядывайся. Дело-то к ночи идет. И впрямь, дружок, лешие... Допрежь того спокон веку мы спокойно жили. В лесу хочь люльку поставь: дятел на сук сядет, чуб набок, да и прочь отлетит. Только и всего. Да, вишь ты, ненароком правду сказал: не иначе, как с прифронтной полосы на нас накатило... Волостной писарь сказывал, будто германы газ такой в самоварах ихних кипятят, – покойников неотпетых вываривают, на нашу сторону дух по ветру пушают... Рыба в реках пухнет, лист вянет, людей берестой сводит, – лошади ли, медведи, вся тварь живая до подземного, скажем, жука вся как есть мрет. Стало быть, и нежить лесная, – тоже и ей дышать надо, – смраду этого не стерпела, вся начисто к нам и подалась. Вот и поди в лес теперь по малинку...

– Да видал ли их кто, бабушка? Може, попритчилось с полугару? На сапог сам себе наступил, через портки переско-

чил, да и ходу.

Обиделась бабка, лаптем пыль взбила, – натурально, старому человеку хрена в квас не клади.

– Воевать ты, сынок, воевал, а ум-то свой в лазарете под подушкой забыл. Сорока я, што ли, чтоб зря цокотать? Люди видали. Псаломщик, человек нечисти неприкосновенный, – при церкви на должностях состоит, – в лес по весне сунулся хворосту собрать, и того захороводили. Среди бела дня лешие с ним в кошки-мышки играть затеяли... Он под куст, а лесовик его за штанцы, – он под другой, а там его невесть кто ореховым прутом по сахарнице. Гоняли, гоняли, как крысу по овину. Очумел он совсем, голосу лишился. Только на колокольный звон к вечеру на карачках продрался.

– А он бы им чего-нибудь на глас шестой спел, они б и отстали...

– Тебя не спросился. Каки там гласы, когда его в цыганский пот ударило, – как шкалик называется, только на третий день вспомнил...

– Контузия, бабушка, по-военному это будет.

– Что пузо, что брюхо, – мясо-то одно. А кузнеца, свет мой, прикрутили к сосне, стали его на медные шипы подковывать. Да, спасибо, догадался: через левое плечо себя обсвистал да черным словом три раза навыворот выругался, – только тем его и отшиб... С неделю опосля того на пятку ступить не мог.

Передвинул солдат фуражку козырьком к стенке, приза-

думался.

– Что ж, у вас меры какие принимали?

Заахала тут старушка, раскудахталась:

– Примали. Знахарь наш, Ерофеич, один глаз кривой, другой косою, – чай, сам его знаешь, – уж чего не делал... Первоначально тридцать три вороны поймал, черным воском им задки запечатал, да на опушке в полнолуние их и вытряс. Крику-то что было! Опосля семи живым зайцам на хвост по жабьей косточке специально привязал, – да от семи осин, что на Лысой поляне растут, в разные стороны с наговором и спустил. Средство верное. Собрали мы ему на винцо, на пивцо, а он к лесному озеру, бесстрашный пес, пошел раков на закуску ловить. «Теперь, – говорит, – дело крепко припаяно, ни полшиша они мне беды не сделают...» Из дыма, вишь, веревку свил: лесовики пришлые, – военный крючок им не по мерке пришелся... Только это Ерофеич по бережку под ивой переобуваться стал, – глядь, сбоку самые матерые лешаки друг у дружки в шубе лесных клопов ищут. Икнул он тут с перепугу, а лешие к нему, да за жабы: «Ага, сват, сто шипов тебе в зад, – тебя-то нам и не хватало!» Сунули его головой в дупло, да как в два пальца засвистят, – так раки к ним со всего озера и выползли... «Эвона, – кричат, – вам закуска! Вон он, знахарь, вороний скоропечатник, ножницы раскорячив, из дупла торчит... Дня на три вам, поди, хватит!...» Так бы и источили. Однако и знахаря голой клешней за пуп не ухватишь. Вынул он из-за пазухи утоплого пьяницы

мозоль, – на всякий случай завсегда при себе носил. Добыл серничек, чиркнул, мозоль подпалил: дупло пополам, будто бомбой его разодрало. Самого себя, как свинью, опалил, – однако случай такой: на мягкой карете не выедешь... Дополз домой, все село сбежалось, – по всему телу у него синие бо-бы, будто ситчик турецкий... Вот и сунься. Грибами теперь у нас, хочь сам архирей прикати, не полакомишься.

«Неладно, – думает солдат, – выходит. По городам, по этапным дворам, по штабам-лазаретам и слухом о таких делах не слышал. Порядок твердый, все как есть одно к одному приспособлено. Будь ты хочь распрелеший, в казенное место сунешься – шваброй тебя дневальный выметет, и не хрюкнешь. А тут в коренное русское село, в тихую глухомань это-кое непотребство вонзилось...»

– Ну, а к батюшке, бабушка, обращались?

– Обращались, розан мой, обращались. Насчет лесной погони, говорит, это дело не мое. Один суевер ветку нагнул, другого по ушам хлестнуло, третий – караул кричит. Серая брехня. Да и как вы к Ерофеичу обращались, пушай вас тот лекарь и лечит, который пластырь варил. Обиделся, значит... Да, вишь, брехня брехней, однако ни попадья, ни ей-ные ребята тоже в лес и носу не кажут. А небось в былое время одной лесной малины в лето с куль засушивали... Стало быть, третий суевер караул кричит, а четвертый под поповской периной дрожит.

Видит солдат, что туго завинчено. Чей бы бычок ни ска-

кал, а у девки дите... Посмотрел он, как за колодцем тонкая рябинка мертвым рукавом по темному небу машет, тихим голосом спрашивает:

– А здесь в селе не наблюдалось ли чего? Случаев каких-либо специальных?

– Наблюдалось, ох, наблюдалось... Чай, им в лесу, оголтелым, скучно. Озоруют и здесь. То коноплю кой-где серый дух, тьфу-тьфу, узлом завяжет, то поросеночка над избой в трубу сунет... То калитку с погоста повивальной бабке на крыльцо приволокут. А намедни у учительши курица петухом пела, срам-то какой. Чай, тоже и у учительши амбиция своя есть... В стародавние времена леший кой-когда в лесу с девушки платок стащит, а таких подлостей не производили. Видно, и лешие нынче, – откуль их нанесло, – тоже осатанели. Чистые фулиганы... А вот еще случай был... Да ну тебя, сынок, к богу, – не путем спрашиваешь, не ко времени отвечаю. Проводи-ка ты меня до избы, а то борону у плетня увижу, невесть что померещится... А все из-за вашей войны, будь она неладна. По небушку летают, солдатские газы пушают. Вот и дождались.

Доставил солдат божью старушку по принадлежности. К своему крыльцу зашкандыбал, палочкой гремит, старушкины слова так и этак переворачивает. Что ж, ежели в самделе с прифронтной полосы купоросным газом сволоту эту лесную нагнало, надо обратное средство найти. Ужель свое село так нечисти болотной и предоставить?..

В пустую кадку постучи, пустота и отзовется, – ан солдатская голова не без начинки, братцы... На заре, чуть ободняло, прокрался он задворками к бабке доказчице. Брякнул в оконце. Высунула она свое печеное яблочко наружу, как мышшь из-под лавки.

– Чего, друг, гремишь? Окном не обознался ли? Ничего у меня, старушки, про вас, солдат, не припасено.

– А ты, мать, поищи, – найдется. Бочоночек самогону, ведра в два, уважь, выкати. За мной не пропадет.

Всполошилась она, пескарником затряслась, – один глаз на церкву, другой вдоль улицы шарит:

– Да что ты, герой, окстись! Каки у меня самогоны? Окромья толокна да квасу, нет у меня и припасу.

Солдат нос свой в горстку зажал, ухмыляется:

– Ты, бабка, не рассусоливай. Не урядник я. Для общества, не для себя стараюсь. Разговор-то наш вчерашний помнишь? Альбо сам пропаду, альбо лес наш по всей форме очищу... Да еще пакли дай, старая. Сруб у тебя новый ставили, авось осталось.

Засуетилась старушка, видит, дело всурьез пошло. Мырнула в подполье, – бочоночек выволокла, – жилистая была, лахудра. Вдвинул солдат добро на тачку, сверху паклей да коноплей для прикрытия забросал. Попер тачку по-за плетнями, аж колесо запищало. Час ранний, ни на одного не наскочишь... Правой ногой хромлет, однако ж ему наплевать: суставы-то у него еще во как действовали...

Докатил до опушки, одежду с себя долой. Сел под куст в чем мать родила, смазал себя по всем швам картофельным крахмалом, да в пакле и вывалялся. Чисто как леший стал – свой ротный командир не признает. Бороду себе из мха венчиком приспособил, личность пеплом затер. Одни глаза солдатские, да и те зеленую отливают, потому на голову, за место фуражки, цельный куст вереску нахлобучил.

Вышиб он втулку, стал водку поядренее заправлять: махорки с полкартуза всыпал, да мухоморов намял, туда ж зачихал, да перцу горсть, да волчьих ягод надавил для вкуса. Чистая мадера!

Покатил он бочонок в чашу, палочкой подпихивает, козлом подрыгивает, сам пьяную песню поет:

А кто там идет?
Леший бородач.
А что ен везет?
Чертов спотыкач...

Слышит – по орешнику будто ползущая плесень шелестит, с дуба на дуб невесть кто сигает, кудрявым дымом отсвечивает.

Докатил солдат выпивку свою до озера, остановился. Пот по морде ползет, глаза заливает, – а утереться нельзя, потому все лесное обличье с себя смажешь. Снял он со спины черпачок, что у самогонной старушки прихватил, бочоночек на попа поставил, застучал в доньшко – на весь лес дробь

прокатилась.

С ветки на ветку, с ельника на можжевельник подобралась мутная нежить, – животы в космах да в шишках, на хвостах репей, на голове шерсть колтуном. Кольцом вокруг солдата сели, языки под мышкой, глаза лунными светляками. Один из них, попузастее, – старший, должно быть, потому у него светлая подкова на грудях висела, – хвост свой понюхал, словно табачком затянулся, спрашивает:

– Ты, милачок, откудава прибыл?

– Для собственного ремонта с западного фронта, из Бело-вежской Пущи... У вас здесь погуще.

– А в бочонке у тебя что за узвар?

– Армейский спотыкач, ковшик выпил – дуешь вскачь. В гродненской корчме подцепил, да сюда прикатил.

Леший рот растянул, а на животе у него глядь – второй рот распахнулся, да оба враз и зачмокали.

«Ловко, – думает солдат, – энто у них приспособлено...»

– А почему от тебя, – спрашивает пузастый, – пехотным солдатом пахнет?

Лешие, конечно, не потеют, – солдатский-то букет ему в нос и бросился.

– Да я по этапным дворам бродил, по ночам солдатские пятки брил. Вот, извините, и пропах... Да вы не скулите. Во-на у пнядохлый крот, вы ноздри натрите, – авось отшибет.

Подобрались лешие поближе, а солдат втулку приоткрыл, нацедил пеннику с полчерпака, стоит поплескивает, – так

они кругом на хвостах и заелозили.

– Ну, что ж, подноси, – говорит старший. – Чего дразнишь? А то мы тебя и в компанию свою не примем...

Как гаркнет солдат:

– Встать! Становись в затылок... Да чтоб по два раза не подходить, знаю я вас, сволочей одинаковых...

Потянулись они к бражке, как старушки к кашке: кто пасть подставляет, кто ухо, а кто и того похуже. Некогда солдату удивляться, знай льет – кому в рот, кому в живот, або вошло.

И минуты не прошло, взошел им градус в нутро, забрало их, братцы, аж до кончика. Похохатывать стали, да с перекатцем, да с подвизгом, – будто кошка на шомполе над костром надрывается...

А потом играть стали: кто на бочке, брюхом навалившись, катается, кто старшего лешего по острым ушам черпаком бьет... Кто, в валежник морду сунувши, сам себе с корнем хвост вырывает. Мухомор с махоркой на фантазию, братцы, действует...

Назюзились они окончательно. В кучку сбились, друг с дружкой, как раки, посцеплялись – шерсть-то у них дремучая, – покорежились раз, другой и аминь. Будто траву морскую черт бугром взбил, копыта об ее вытер, да и прочь ушел.

«Запалить их, что ли? – думает солдат. – Спирт внутри, пакля наружу, – здорово затрещит». Однако ж не решился:

ветер ключья огненные по всей дубраве разнесет, – что от леса останется? Нашел он тут на бережку старый невод, леших накрыл, со всех концов в узел собрал, поволок в озеро. Груз не тяжелый, потому в них, лесных раскоряках, видимость одна, а настоящего веса нет. А там, братцы, в конце озера подземный проток был, куда вода волчком-штопором так и вбуравливалась.

Подбавил он в невод камней – для прочной загрузки – да всю артель веслом щербатым в самый водоворот и спихнул. Так и захлюпало! Прощай, землячки, – пиши с того света, почем там фунт цыганского мяса...

Обмыл с себя солдатик паклю да крахмальную слизь, морду папоротником вытер, пошел одеваться: нога похрамывает, душа вприсядку скачет... Ловко концы-то сошлись. На войне раненого полуротного из боя вынесешь, «Георгия» дают, а тут за этакий мирный подвиг и пуговкой не разживешься. А ведь тоже риск: распознай его лешие, по косточкам бы раздергали, кишки по кустам, пальцы по вороньим гнездам...

Добрел он до села, у колодца общественного стал, как загремит в звонкую бадью ясеновой палочкой:

– Сходись старый да малый! Бог радость послал: грибами-малиной теперь в лесу хочь облопайся...

Сбежался народ, кто с лепешкой, кто с ложкой, – дело-то в самый обед было. Сгрудились вокруг, удивляются: солдат трезвый, а слова пьяные.

Однако как он про свою победу-одоление рассказал, так все и дрогнули. Солдат достоверный был, сроду он не брехал, – не такого покроя.

– Да как же ты их, легкая твоя душа, обошел-то? Ерофеич на что мастак, и тот, как колючей проволоки наглотавшись, из лесу задом наперед еле выполз.

Смеется солдат, глаза, как у сытого кота, к ушам тянутся.

– Военный секрет, милые. Авось и в соседнем уезде пригодится. Тачку-то бабкину прихватите, когда из лесу вернуться будете, – в ней главная суть.

Тронулось тут все население беглым маршем в лес, – и про обед забыли. Только платки да портки за бугром замелькали. Ребятки лукошки друг у дружки рвут, через головы кувыркаются. В лес нырнули, так эхо вокруг тонкими голосами и заплескалось.

* * *

Сидит солдат на завалинке, прислушивается. Ишь гомон какой над дубами висит. Дорвались...

Покосился он тут вбок, – Ерофеич по плетню к нему пробирается, тяжело дышит, будто старшину в гору на закорках везет... Добрался до завалинки, сел мешком, ласково этак спрашивает, а у самого морда такая, словно жабой подавился:

– Что ж ты, служивый, хлеб у меня перебиваешь?

– Да я, папаша, не для-ради хлеба, – ради удовольствия. Хлеба у нас и своего хватит...

– Как же ты их, милый человек, обчекрыжил? Умственности у тебя никакой нет... Правил ты настоящих не знаешь...

– Никак нет. Умственности, действительно, за собой я не замечал.

– Да как же ты все-таки распорядился? – спрашивает Ерофеич, а сам все придвигается, ушами шевелит, – вот-вот солдату в рот вскочит.

– Очинно просто. Я, папаша, без правил действовал. Только они на меня в лесу оравой наскочили: кто такой да откудова?. А я к стволу стал, да так им бесстрашно и ляпнул: «Села Кривцова, младший подмастерье знахаря Ерофеича!» Перепугались они насмерть, имя-то твое услышавши, – да как припустят... Поди, верст за сорок теперь к западному фронту пятками траву чешут.

Насупился Ерофеич, глазом косым повел – нож в сердце!

– Н-да. Ну, как знаешь. Не плюй, брат, в колодезь, авось он и не высох. На фронт ты вернешься, а может, я б тебе слово какое наговорное против пули бы вражеской дал.

– Спасибо, папаша. Да мне оно ни к чему. Я там, в окопах сидючи, так приспособился, что германские пули голой рукой ловлю, да им же обратно и посылаю...

Видит знахарь, что солдат ложку свою крепко держит. Голос он переменяет, да этак жалостливо к солдату и подсыпается.

– Ну да ладно... Натурально каждый свой секрет про себя держит. А не мог ли бы ты, друг, беде моей пособить, – уж я отслужу, будь покоен. Тело у меня после того случая все синими бобами пошло. Средства у тебя нет ли какого, оченно уж обидно.

Поиграл солдат сапогом, плечом передернул.

– Средствие и без меня найдется. Слыхал я тут, что ты к солдатке одной непутем, сладкий старичок, подкатываешься. Так вот, как ейному мужу бог приведет невредимо с фронта воротиться, отполосует он тебя, рябого кота, кнутом – вот весь ты синий и станешь. В ровную, стало быть, краску войдешь.

Вскочил Ерофеич, горькую слюнку проглотил – аж портки у него затряслись. А солдату что ж. Чурбашку из-за пазухи вынул, да и принялся из нее командира полка вырезать. Разве с таким сговоришься?